

ДВА РАССКАЗА

РОЗЕНБЛАТ И ЗИНГЕР

Розенблат и Зингер, когда я познакомился с ними, были погонщиками ослов в Ташкенте. Они ютились в маленькой конурке под лестницей, в старом здании учрежденческого архива, приспособленном под общежитие. Спали они на полу, постелей у них не было – так, какое-то логово из соломы и тряпья. Одежды у них тоже не было – только та, что на них; из теплых вещей – выданные им казенные телогрейки и ватные штаны защитного цвета.

Шла война, общежитие тесно заселяли эвакуированные, всем жилось несладко, но и среди эвакуированных Розенблат и Зингер выделялись бедностью и неприкаянностью, при том – несхожестью с остальными. Уже то, что они были погонщиками ослов (обязанность, как правило, исполняемая местными жителями), вызывало недоумение. Лихолетье, тяготы быта, плохая одежда, недоедание, резкая перемена в образе жизни, привычках, знакомствах, для иных и в поприще, недавно составлявшем дело их жизни, отозвались и на облике большинства людей, вкушавших горький хлеб чужбины, по-своему уравнивая их внешне, однако наружность Розенבלата и Зингера уж очень необоримо противоречила выполняемым ими обязанностям.

Про Розенבלата, повторяя за всезнающей Лидией Николаевной, библиографом из Ленинграда (чуть ли не в Эрмитаже она там работала), в общежитии говорили, что он похож на дирижера: высокий, стройный, с зачесанными назад длинными седыми волосами; и движения у него были отточенно изящные. Зингер выглядел попроще: пониже ростом, пошире в плечах, черные жесткие волосы коротко пострижены, но выражение печальной задумчивости, не сходившее с его лица, большие карие глаза, постоянно обращенные куда-то вперед и вверх, неизменно привлекали внимание пешеходов, попадавших навстречу, когда он, двигаясь неторопливой походкой, вел под уздцы запряженного в двухколесную повозку ишака по залитой солнцем ташкентской улице.

Розенблат и Зингер, люди пожилые, привечали меня, подростка, охотно со мной беседовали. В их любопытстве ко мне, неожиданном взгляде, быстрой улыбке я ловил притаенную ласку. Погонщики ослов объяснялись между собой на немецком языке, русский давался им с трудом. Я неплохо болтал по-немецки, они, пробуя себя, отвечали мне по-русски, – беседа наша ладилась. В разговоре обычно первенствовал Розенблат, его товарищ слушал нас, слегка покачивая головой, как бы в знак согласия с тем, что слышит, и всё вглядывался в какую-то одному ему видимую точку где-то под потолком.

Так со временем, сегодня одно, завтра другое, я узнал от погонщиков их историю.

Розенблат был некогда владельцем солидной берлинской фирмы “Торговля бельем”. Когда к власти пришли нацисты, он отправил семью за границу, сам же

не нашел сил тотчас, не устроив, бросить дело, дом, накопленное, и тянул до последнего. Последнее же оказалось такое: если не желаешь худшего, бери скорее ручную кладь и под надзором марш до границы, а там – куда глаза глядят. Глаза Розенблата углядели Вену, где он робко постучался в дверь к Зингеру. У Зингера тоже была фирма, и тоже “Торговля бельем”, – совсем недавно он числился конкурентом Розенблата. Зингер обнял стоявшего на пороге нищего, бездомного сотоварища и взял к себе работать. Розенблат уже знал то, чего пока не ведал Зингер: он убеждал вчерашнего конкурента и нынешнего патрона быстро ликвидировать дело и перебраться в более безопасное место. Но теперь Зингер не мог заставить себя отдать за бесценок нажитое: он, в свою очередь, отправил семью куда-то на запад, а сам стал тянуть до последнего. Розенблат, преисполненный дурных предчувствий, не покидал его из солидарности. Они дотянули до аншлюса и видели из окна, как по улице в открытой машине, под восторженный рев густо толпившихся на тротуарах горожан, время от времени поднимая в приветствии руку, проехал фюрер. Прихватив, вопреки запрету (еврейское имущество национализировалось), кое-какие ценности, Розенблат и Зингер метались в поисках лазейки в обступавшем их все теснее кольце. Когда им удалось перебраться в Румынию, потайные карманы брюк, поначалу отягощенные прихваченными ценностями, стали не нужны. Хотя антиеврейские акции в стране еще не проводились, предусмотрительные люди посоветовали беглецам укрыться где-нибудь в глуши. В поисках прибежища и куска хлеба они забрели в бессарабскую деревню и нанялись батрачить к богатому крестьянину. Спустя некоторое время их освободила Красная Армия, присоединившая Бессарабию, а заодно Розенблата и Зингера, к Советскому Союзу. Бывшие владельцы фирм превратились к тому времени в такие ничтожества, что даже не вызвали интереса весьма любознательных органов: их не арестовали, не отправили в лагерь – после проверки выслали, правда (и этим, по прихоти Истории, уберегли от печей Освенцима, который они, наверно, называли бы на немецкий лад Аушвицем), но и выслали как-то невинно – просто в Среднюю Азию, где они после некоторых поисков обрели кров и должность, в какой-то их и застал.

В моих беседах с погонщиками поневоле возникла еврейская тема.

Для Розенблата и Зингера еврейство уже определило их судьбу, в моем отроческом сердце тоже успели поднакопиться горестные заметы – болячки не заживали: улица, школа, толпа на базаре, очередь в магазине нет-нет да и сдирали струпья. Именно тогда, в эвакуационном тылу, рождались ладные, легко вбираемые сознанием поговорки-представления: «Иван в окопе, Абрам в райкоопе», и наш дворник, чахоточный узбек Кучкар, вооруженный метлой, ругал «ибреем» ишака, когда тот, гуляя по двору, забредал на территорию, для его прогулок не предназначенную.

Я тосковал: еще недавно я часто слышал от близких, что у нас, в Советском Союзе, мы позабыли, что мы евреи, в школе мы учили наизусть про «без России, без Латвий» и про «единое общечеловеческое общежитие», и эти стихи мне нравились.

– Мальчик, – Розенблат смотрел на меня с сожалением; его веки были докрасна выжжены чужим азиатским солнцем. – Мальчик, – повторил он, – забыть есть взаимное дело. Мы тоже забыли когда-то, что мы евреи. По воскресеньям Розенблат надевал черный фрак, цилиндр на голову, садился в коляску и ехал в кирху. Немцы улыбались мне и говорили: “Гутен таг”. И я улыбался немцам, приподнимал цилиндр и говорил: “Гутен таг”. Но на другой день после прихода Гитлера оказалось: немцы не забывали, что я еврей. Они уже не говорили мне: “Гутен таг”. Нельзя забывать, мальчик, что ты еврей, раньше, чем это забудут другие.

Он замолчал, ладонью закинул назад свои тяжелые седые волосы.

Зингер слегка кивал головой, печально улыбался и всматривался во что-то над моей головой...

В коридоре общежития, в двух шагах от входной двери обитал на топчане Исаак Наумович, — по имени старика, впрочем, никто не величал, все называли просто “дядя”. Его вывезла в эвакуацию племянница Геня, одинокая женщина, архивист, — по приезде она получила работу в том самом архиве, на первом этаже которого теперь разместилось общежитие. Многие ей завидовали: не нужно тащиться на работу через весь город, пешком или в набитом до невообразимого трамвае, — влезть в вагон и выбраться из него обычно удавалось с трудом, в самом же вагоне, в такой тесноте, что пальцем не пошевелить, вору умудрялись разрезать сумки и очищать карманы. Геня постоянно мерзла, натягивала одну на другую две вязаных кофты, ее худое, покрытое крупными блекло-желтыми веснушками лицо было бледным и будто застывшим от холода. Геня очень заботилась о дяде и всегда на него сердилась: “Дядя, вы заболете, кто будет за вами ухаживать?” Но через несколько месяцев в конце неверной ташкентской зимы простудилась сама Геня и быстро умерла в больнице, куда ее пристроил по знакомству заведующий архивом. Комендант общежития Тамара, толстая русская женщина, по-азиатски красившая волосы хной и дозелена сурьмившая брови, выставила дядин топчан в коридор, а на половине комнаты, где он жил с Геней, поселила семью из трех человек; на другой половине, отгороженной шкафом, набитым архивными карточками, жили мы с мамой.

Дядя покорно перебрался в коридор, рюкзак с вещами, а всех вещей у него и было только этот рюкзак, он, чтобы не украли посетители, проходившие мимо его топчана на второй этаж, в архив, оставил у нас. — Там, в рюкзаке, у меня еще одни брюки, — сказал он мне. — Когда я умру, возьми их себе, они тебе как раз впору.

Весной солнышко славно пригревало, дядя с утра выходил на крыльцо и сидел на ступеньке, покуривая, если был табак, — его серые усы вокруг губы были бурыми от табачного дыма. Возле крыльца женщины готовили на мангалах немудреную пищу. Я получал для дяди продукты по карточкам, кто-нибудь варил ему затируху из темной муки с водой, сдобренную для вкуса красным перцем, запекал ломтик сахарной свеклы, которой щедро отоваривали наши продовольственные талоны.

— Ты раньше-то кем был? — спросила его однажды Тамара: она поднималась на крыльцо и вдруг задержалась, точно увидела дядю впервые. Ее толстая нога стояла на ступеньке, где устроился дядя, дымя тощей, свернутой из газеты сигаркой.

— Кем я только ни был, — отозвался он. — Сперва был мальчиком, потом молодым человеком, потом неведомо кем и, надо же, вдруг оказался стариком. А ко всему я еще был евреем.

Его черные глаза смеялись как-то по-особенному. Взгляд старика светился обаянием, перед которым трудно устоять женщине.

— Я говорю, занимался-то чем, дядя? — переспросила Тамара, показывая в улыбке сплошь золотые зубы.

— Многими интересными делами. Одно время, например, я очень любил играть в бильярд. Женщин я тоже любил.

— Ну народ! — расхохоталась Тамара. — Ну не поймешь вас, чертей!

И, грузно проминая доски ступеней, вошла в здание.

— В конечном счете вам повезло, — сказал дядя Зингеру, который сидел на корточках у мангала и помешивал алюминиевой ложкой в котелке. — Вы погоняете ослов. Со мной всю жизнь получалось наоборот.

Дядя умер в начале лета. Он ничем не болел — просто не проснулся однажды. Было уже позднее утро, когда солнце выбралось из-за густой кроны стоявшего

посреди двора громадного орехового дерева и хлынуло сквозь отворенную дверь здания, разгоняя полумрак в коридоре. Местный человек в сером френче и черной тюбетейке, спускавшийся с полученными справками в руках по скрипучей лестнице со второго этажа, вдруг испуганно закричал пронзительным тонким голосом.

– Молодец дядя, красиво убрался, – одобрительно сказала комендант Тамара, сколупнув пальцем слезинку. – Нам бы так.

И отправилась добывать гроб.

Дядя, укрытый с головой серым байковым одеялом, неподвижно лежал, слегка возвышаясь на своем топчане возле лестницы, – ходить мимо него было не страшно.

В дядином рюкзаке, кроме не слишком ношенных коричневых брюк, двух ветхих рубаш и убогого нижнего белья, я обнаружил белый с широкой черной каймой кусок шерстяной материи, аккуратно упрятанный в темно-синий бархатный мешочек. Мама объяснила мне, что это талес – евреи надевают его, когда молятся. Розенблат развернул талес, вытянув руки, держал перед собою, внимательно разглядывал, будто, как и я, видел впервые. Зингер сказал: «Старик хотел, чтобы его похоронили по обряду».

Назавтра Тамара доставила гроб из некрашенных, слегка обструганных досок и вручила погонщикам квитанцию об оплате похорон – отдать на кладбище. Розенблат и Зингер переложили в деревянный ящик завернутое в талес тело. Гроб поставили на двухколесную повозку, Зингер взял ишака под уздцы, Розенблат шел рядом с Зингером, я позади повозки, присматривая, чтобы не развязался узел на веревке, которой был привязан гроб. На мне были дядины брюки; я засучил их до колен, чтобы не пачкались.

Мы двигались по каким-то дальним улицам, немощеным, тележка заваливалась то на один бок, то на другой, по обеим сторонам улицы тянулись глинобитные заборы и стены, в арыках под деревьями с добела запыленными снизу листьями ровно журчала вода.

– Я стал вчера спрашивать евреев: где здесь синагога, как найти раввина, можно ли похоронить по обряду, – никто не хотел отвечать. Один сказал: «Глупости», другой сказал: “Бога нет“, третий вообще отвел меня в сторону и предупредил, что могут быть неприятности.

Зингер волновался, говорил по-немецки, быстро, – я напряженно вслушивался, чтобы понимать.

– Дома, в Берлине, я тоже избегал ритуальных еврейских похорон, – сказал Розенблат. – Даже на католической мессе я чувствовал себя как-то удобнее, увереннее. Мы не соблюдали никаких еврейских обрядов – я не хотел: все это было для меня чужое, осталось где-то в далеком детстве, вместе с бабушками и дедушками. Немецкие евреи говорили: дома можешь надевать ермолку, но на улицу выходи в цилиндре. Я и дома носил цилиндр. Перед Первой мировой войной тысячи евреев бросились бежать в Америку – откуда-то из Польши, из Галиции, с Волыни. Они толпами проезжали через Берлин – в долгополых сюртуках, каких-то диких меховых шапках, с пейсами до плеч. Перепуганные, но притом суетливые, шумные; походка, жесты, язык, который слышался мне исковерканным до безобразия немецким...

Я смотрел на них с ужасом: «Это я? Нет, это не я. Я что-то совсем другое...»

– Ханна, моя жена, зажигала по пятницам свечи и, наверно, похоронила бы меня как положено, – сказал Зингер. – Хотя она никогда не молилась и не знала ни одного слова по-еврейски. Она была из хорошей семьи, училась в пансионе и любила читать старых немецких поэтов: Гете, Шиллера, еще каких-то. Не помню их имена, мне было некогда читать что-нибудь, кроме газеты...

Вдоль кладбищенской стены, сложенной из серых неровных камней, стояли штабелями, один на другом, гробы, простые, непокрашенные, точь-в-точь такие, как наш. Из конторки у ворот выбежал нам навстречу тощий служащий в белой фуражке: выхватил из рук Зингера квитанцию, закричал:

– Кладите покойника в очередь. При первой возможности похороним.

Я развязал веревку. Розенблат и Зингер подняли гроб, перенесли к стене и поставили на крайний от ворот штабель.

Потом мы, все трое, уселись на повозку, свесив ноги почти до земли; осел повернул голову и недовольно посмотрел на нас, но Зингер хлестнул его прутиком, и мы отправились в обратный путь.

Недели через две отец, оказавшись в Москве, прислал нам вызов, и я навсегда расстался с моими друзьями, погонщиками ослов, бельевыми торговцами, доживавшими век на ворохе соломы без простыни и подушки.

СКРИПАЧИ НА КРЫШЕ

Теплой апрельской ночью 1943 года я сидел со знакомой девочкой на крыше нашего семиэтажного дома. Налетов на Москву уже почти не было, лишь изредка расширяющиеся кверху лучи прожекторов начинали метаться по небу, переkreшиваясь на черном просторе серебристыми римскими десятками, тогда с крыши девятиэтажного дома напротив установленный там зенитный пулемет давал несколько очередей, красные и зеленые огоньки трассирующих пуль ровными цепочками уносились куда-то ввысь.

Мы устроились, свесив ноги, на краю покрашенного в красный цвет дощатого помоста. На помосте находились бочка с водой и ящик с песком; тут же имелись наготове большие железные щипцы – ими надлежало захватывать упавшую на крышу зажигалку и затем окунать ее в бочку. На дежурство нам выдавали каждому брезентовые рукавицы.

Мальчики и девочки моего поколения вступили тогда в беспокойную пору юности, и эти ночные часы над темным, с потушенными огнями и плотно занавешенными окнами, городом одаривали нас первой влюбленностью, нечаянными прикосновениями, от которых сладко сжималось сердце, нежданно разговорами, на которые нипочем не решился бы внизу, на земле, да еще при дневном свете.

Девочку, которая сидела рядом со мной, звали редким именем – Руфь. Я мало что знал о ней: она появилась в нашем дворе недавно, уже во время войны, и поселилась у мужа и жены Гринтухов, живших на третьем этаже; говорили, будто она приходится им дальней родственницей. Гринтухи были пожилые люди, мне тогдашнему они казались и вовсе старыми. Детей у них не было. Сам Гринтух, известный врач-терапевт, пользовал влиятельную клиентуру, его жена, несмотря на возраст, очень красивая и всегда изысканно одетая, имела какое-то отношение к театральному миру. Иногда к Гринтухам приходили известные артисты, и как мы бывали счастливы встретить кого-нибудь из них на дорожке, ведущей к подъезду. Чаще других появлялась миловидная, золотоволосая солистка эстрады Людмила Геоли, мы повторяли с ее голоса и с ее интонациями арии из оперетт – «Карамболину-Карамболету» или «Идет домой красotka, очень кротка, а вслед за ней бежит толпа» – и почти причислили ее к жильцам нашего дома; а однажды я сам видел, как через двор, в черном кожаном пальто, шел, опустив голову, показавшийся мне почему-то очень одиноким и печальным, великий Хмелев.

Старики баловали Руфь. Ни одна из девочек нашего двора не была так красиво одета (мое поколение вообще не привыкло к хорошей одежде, в военные годы тем более). Даже на дежурство она явилась в клетчатом пальто с высокими

подложенными плечами. Баба Саша, уборщица, досконально осведомленная обо всем, что делается в любой из квартир на всех семи этажах (моя мама именовала ее «Пате-журнал» – так называлась старинная кинохроника), итожила степенно: «Подвезло девице – сыта, одета, обута, и, гляди, какое богатство, все ей достанется».

Во время дежурства – так у нас повелось – мы устраивали маленькую трапезу: каждый приносил с собой что-нибудь из еды, и на подстеленной на помосте газете сервировался общий ужин. Продукты выдавали по карточкам, всякий кусок хлеба в доме был на учете, раздобыть что-нибудь сверх куска хлеба было и вовсе непросто, но, готовясь на дежурство, что-то припасали заранее, а что-то и мама подбрасывала, войдя в положение. Я снял брезентовые рукавицы и выудил из внутреннего кармана телогрейки завернутый в бумагу бутерброд, теплый от долгого прикосновения к моей груди, – два куска серого хлеба, накрытых тонко отрезанными прямоугольными ломтиками американской колбасы. Такую колбасу в консервных банках – они открывались специальным ключиком, на который наматывалась тонкая полоска жести, – мы получали по талонам вместо мяса. Руфь тоже достала из висевшей у нее через плечо сумочки на тонком ремешке изрядный сверток: две французских булки (через несколько лет, борясь с космополитизмом, их станут именовать «городскими»), одна с сыром, другая с щедро разделенными напополам крутыми яйцами, и два апельсина. Я сразу понял, что все эти редкости куплены в так называемом «коммерческом» магазине, где без карточек, но очень дорого продавали хорошие продукты. Мы были юны и постоянно голодны: чтобы не уничтожить враз выложенное угощение, мы обычно резали всё на маленькие кусочки и, беседуя, мучительно удерживали руку, так и норовившую схватить один кусочек вслед за другим.

«Ты ешь, – сказала Руфь, когда я, старательно разместив припасы на газетном листе, обтер большой складной нож о рукав телогрейки. – Ты ешь, мне не хочется, я поужинала перед дежурством, вот только апельсин – ладно? – чтобы тебе скучно не было одному». Она взяла дольку апельсина и положила в рот. Я почувствовал себя уязвленным: в том, что произошло, обнаружилось оскорбившее меня неравенство; к тому же я уже заранее мечтал, как весело будем мы уплетать наш роскошный ужин, – съесть всё самому под взглядом этой малознакомой девочки было просто невозможно. Оживление мое исчезло, я пожал плечами, взял крошечный кубик подсохшего серого хлеба с американской колбасой, хотел было подольше его жевать, но не удержался и тотчас проглотил.

«Не обижайся, – сказала Руфь и положила мне на руку свою узкую теплую ладонь. – Сейчас у евреев Пасха, в Песах я не ем хлеба».

«А что же ты ешь?» – ошалев от неожиданности услышанного, спросил я.

«Разве ты не знаешь, что евреи едят в Песах?» – ответила она вопросом.

«Это мацу, что ли?»

«Мацы здесь нет. Поэтому просто не ем хлеба».

«А ты что – в Бога веришь?»

«Не знаю».

Я видел ее узкое лицо, в лунном свете оно казалось совсем белым, блестящие глаза, две небольшие, жесткие, как палочки, косы, торчащие из-под беретки.

«Ты ведь комсомолка, наверно?»

«Но это же совсем другое, неужели ты не понимаешь. Да ты ешь! Так красиво все нарезал...»

Той весной душа моя впервые потянулась к Богу. Я не сознавал этого: для меня настала пора смятенной, ищущей души, – трудно было угадать подлинное в ее сумятице, отделить от тревожащей мельтешни. Но именно тогда я сочинил несколько наивных фраз, в которых просил Кого-то, не называя Его, о чем-то дорогом и важном – эти фразы я неотступно повторял, прежде чем заснуть,

каждый вечер, улегшись на свой диван и укрывшись с головой одеялом. Как-то раз у меня даже завязался с одним школьным приятелем разговор о вере. Приятель, отчаянный атеист, говорил так убежденно, что я, сам пугаясь того, что делаю, предложил ему написать на листке из тетради: “Бога нет” и поставить внизу свое имя. Мой собеседник, не задумываясь, выполнил мое пожелание, я не показал виду, что его смелость меня поразила – сам бы я вряд ли на такое решился.

«У вас дома не справляют Песах?» – спросила Руфь.

«Ты что! Мои родители в Бога не верят. И потом, если узнает кто-нибудь...»

«Дядя тоже не справляет. Говорит: безвозвратное прошлое. А у нас дома всегда справляли, не боялись. Мой дедушка был очень верующий. По субботам ходил в синагогу пешком. Ведь евреям по субботам нельзя ездить ни в трамвае, ни в автобусе. Вообще нельзя. А синагога на другом конце города. Дедушка возвращался поздно, бабушка спрашивала: «Ты там все двери запер?»»

«А ты из какого города?»

«Из В. Там сейчас немцы».

«А где же дедушка?»

«Не знаю. Меня перед самой войной отправили в санаторий, и нас успели эвакуировать. Говорят, немцы всех евреев в городе убили. Значит, и дедушку с бабушкой, и маму тоже. Я не верю. Ты ешь».

Я не удержался и взял кусок французской булки с сыром.

«Потом мне помогли узнать адрес дяди, они первую военную зиму были в Куйбышеве, он за мной приехал, и я стала у них жить. На самом деле он мне не дядя, он брат дедушки, но «дедушкой» я его не могу называть. И тетя такая красивая, губы красит, ресницы – совсем не похожа на «бабушку». Они меня любят. Теперь дядя папу моего ищет. Папа у меня военный инженер, его никогда дома не было. А как война началась, о нем ни слуху ни духу».

Руфь говорила ровным, негромким голосом, ее бледное лицо было спокойно, большие, ярко блестящие глаза смотрели куда-то поверх моей головы, руки в брезентовых рукавицах лежали на коленях.

«Ну ладно, не нужно об этом».

«Ты сама начала», – сказал я грубовато.

Пока она говорила, я незаметно съел всю булку с сыром.

Луч прожектора, вдруг возникнув где-то внизу, за домами, быстро взбирался ввысь, пока не упирался в какую-то нужную ему точку, и неравномерно, покачиваясь и блуждая, начинал бродить по небу, налево, направо, вдаль и обратно, ближе к источнику света, и это его движение явственно очерчивало сферическую чашу опрокинутого над городом неба. Луч то будто рассеивался в вышине, то скользил по серым с яркими подсвеченными краями облачкам, то выхватывал висевшее в воздухе продолговатое серебристое тело аэростата воздушного заграждения.

Эти аэростаты располагались по Бульварному кольцу, весь день, до наступления темноты, подтянутые тросами, они томились на земле, как выброшенные на берег морские чудовища. Возле них стояли деревянные балаганы и брезентовые палатки подразделений обслуживания, в палатках жили девушки-аэростатчицы, страшно соблазнительные в своих обтянутых гимнастерках и подчеркивавших крепкие икры сапогах. Проходя мимо, мы весело их окликали, заговаривали с ними, и, хотя, как я теперь понимаю, виделись им наивными мальчишками, они охотно отзывались на наши приветствия и подмигивания и не прочь были завести недолгую шутовскую беседу.

«На Песах все такое особенное, необычное, – сказала Руфь. – Во-первых, весна. И у всех особенное хорошее настроение. И на столе все особенное, не такое, как всегда. И всем весело. Дедушка читает молитвы, а мы песни поем, стихи, считалки. Про кота какого-то злобного, как он козлика слопал».

«Ты умеешь по-еврейски?»

«Нет. У дедушки книжка есть – там по-русски тоже написано. А потом Рувик, мой младший братик, мы с ним Руфь и Рувим, задавал дедушке вопросы: почему мы в этот день едим горькое, почему мацу, а не хлеб? Это он по-еврейски. Его дедушка заставлял выучивать. Всегда самый маленький спрашивает – так полагается».

– А где он сейчас, этот Рувик?

– Там. С нашими. В В.

Вообще-то я немного «косил», делая вид, что вовсе незнаком с обрядами праздника. Раза два-три родители ходили на Песах к одному дальнему нашему родственнику-старичку и брали меня с собой. Старичок, крошечного роста, с большой белой бородой, в черной шелковой шапочке и старинном черном сюртуке сидел во главе стола на обитом зеленым повытершимся бархатом кресле с высокой спинкой и высокими подлокотниками, возле него на белой скатерти лежали несколько листов мацы, покрытые накрахмаленной салфеткой, на странном блюде, разделенном на несколько частей, были разложены необходимые яства; жена старичка, тоже маленькая, круглая, с короткими пухлыми руками, суежилась, подкладывая на тарелки гостям то мучные шарики, то кусочек фаршированной рыбы, и какой-то мальчик в белой рубашке и, что меня поразило, черном бархатном галстуке-бабочке, какой носят только артисты (больше я этого мальчика никогда нигде не видел), в самом деле задавал вопросы на непонятном языке, а старичок важно отвечал на них, и, по его команде, все за столом отпивали из стаканчиков красное вино, но все это я наблюдал урывками, без всякого интереса, как что-то «взрослое» и чужое, к чему принудили меня, взяв с собой в гости, папа и мама, которым, по моему разумению и ощущению, все это тоже было и неинтересно, и не нужно, они просто отдавали долг вежливости родственнику-старичку, с которым их связывало что-то: то ли он приютил папу в Первую мировую войну, когда он на пару недель приехал в Москву в отпуск с передовой, то ли еще что-то. Самое же привлекательное на этих праздниках Пасхи, и не только для меня, происходило в соседней комнате большой, захламленной коммунальной квартиры, где обитал старичок: там, в соседней комнате, жил его младший сын Лазарь, еще недавно довольно известный футболист в московской команде «Спартак», а теперь какой-то видный деятель этого общества, друг великих футболистов братьев Старостинных и других, чьи имена мы произносили с неизмеримо большим почтением и интересом, нежели слова застольного ритуала. Лазарь этот был красивый веселый человек, я был по-мальчишески влюблен в него, он, между прочим, умел водить автомобиль, что в ту пору умели немногие, однажды он пригласил меня и папу на матч «Спартак» – «Металлург», мы ехали на стадион в открытой машине, «газике», Лазарь в большой клетчатой кепке небрежно, привалившись к борту машины, крутил баранку руля, а рядом с ним сидела высокая женщина с белыми волосами и накрашенными губами, невероятной, как мне казалось, красоты, – соперничать с ней могла разве лишь Любовь Орлова. Во время пасхального ужина мужчины, особенно те, что помоложе, потихоньку перебирались из-за праздничного стола в комнату к Лазарю, где на столе стоял графин желтой, настоянной на лимоне водки и лежали на больших тарелках обыкновенные бутерброды, ржаной и белый хлеб, а не скучная маца, и шел оживленный разговор о футболе, потому что весна, как раз только начался первый круг первенства, и все про футбол было невероятно увлекательно, в командах произошли перемены, и только недавно приезжали знаменитые баски, и наши победили, а теперь ждали болгар. Там, в комнате у Лазаря, я видел знаменитого спартаковского полузащитника Станислава Леуту, приглашенного, конечно же, не благочестивым старичком, и вообще, скорей всего, не ведавшего, по какому

случаю какие-то люди торжественно сидят за столом в соседней комнате. Леута, посмеиваясь и поблескивая стальными коронками, рассказывал что-то про последнюю игру, мужчины, сидевшие вокруг со стопками в руках, восторженно ему внимали. Потом Леуту арестовали, кажется, вместе с братьями Старостинными. Я, конечно, тоже удирал на большую часть вечера к Лазарю, тихий, задумчивый мальчик в белой рубашке и галстучке-бабочке за столом у старичка, посаженный хозяином по левую руку, казался мне чем-то неправдоподобно давним, как какая-нибудь фотография из бабушкиного альбома на сером картонном паспарту с позолоченной тисненой печаткой «Фотографы П. и Л.Пеньковы, преемники Коркина. Город Томск»...

«А под конец говорят: «В будущем году в Иерусалиме». Это чтобы всем евреям встречать там следующую Пасху. Ты бы хотел вдруг попасть в Иерусалим?»

«В Иерусалим?..»

Мне в ту пору как-то и в голову не приходило, что он где-то все еще в самом деле существует, этот Иерусалим. Имя города безвозвратно увязло в глубинах страниц учебника древней истории для пятого класса: царь Давид, царь Соломон, Израильское и Иудейское царство. Ах да, еще и средние века – что-то про крестовые походы, Готфрид Бульонский...

– Знаешь, у нас в классе была до войны одна девочка, Надя Анисимова, так она вместо Готфрид Бульонский сказала Бульон Барбаросса. Она в изложении вместо «Лев Толстой» написала «толстый лев». Представляешь? Учительница прочитала: «Однажды Лев Толстой шел по полю...» – это про репейник. А она пишет: «Однажды толстый лев шел по полю...» Такая дура!..

– А мне хочется в Иерусалим, – сказала Руфь и положила в рот дольку апельсина. – Ну, может быть, не по-настоящему, понимаешь, – как будто во сне. У дедушки была открытка – такая круглая гора и на ней дома, много-много, освещенные солнцем. И весь этот Иерусалим такой круглый и светится. Как огромный апельсин. Понимаешь?

Руфь засмеялась.

– Нет, я бы лучше поехал в Нью-Йорк, – сказал я. – У меня есть фотография – Эмпайр Стэйт Билдинг, самое высокое здание в мире, триста восемьдесят один метр. Представляешь: лифт на сто второй этаж. И потом, американцы теперь наши союзники. Но вообще-то я из Москвы никуда не хочу. Мы год в эвакуации были – я еле выдержал...

– И все-таки давай, – сказала Руфь и протянула мне апельсиновую дольку. – Ну не в следующем году, когда-нибудь в этот день – в Иерусалиме.

– Давай, – сказал я. – Я буду Герцог Бульонский, а ты Любовь к Трем Апельсинам.

– Когда-нибудь в Иерусалиме!

Мы одновременно, точно осушая бокалы, проглотили по ароматному кисленькому ломтику. Кажется, это был первый кусочек апельсина, который я попробовал с тех пор, как началась война.

– Вы там не целуетесь? Не помешаем?

Мой сосед и одноклассник Петя Миглав с трудом протиснул в треугольное слуховое оконце свои могучие плечи, обтянутые черным матросским бушлатом. Петя занимался тяжелой атлетикой. Следом на крыше появилась Алка Петухова, которую он выдернул из оконца легким движением руки. У Алки были красивые ноги – она носила короткую юбку и даже дежурить на крышу являлась в туфлях на высоких каблуках. Петя с Алкой крутили любовь, все это знали.

– Час ночи, смена, – объявил Петя. – Сдавайте рукавицы.

Я завернул в газету нарезанную булку с яйцом и положил в сумочку Руфи. Она быстро взглянула на меня, но не возражала. Мы по очереди пролезли в слуховое оконце. Я держал в руке теплую тонкую руку Руфи и, слегка подсвечивая себе

фонариком с синим стеклом на лампе, вел ее среди балок и стропил к чердачной двери. Мы неслышно ступали по мягкой пыли, толстым слоем покрывавшей пол чердака...

Скоро Руфь исчезла из нашего дома, так же незаметно, как незадолго перед тем появилась в нем. Баба Саша, «Пате-журнал», говорила, будто старик Гринтух разыскал отца девочки, но это мало кого интересовало. Было военное время, люди появлялись, исчезали, а Руфь слишком недолго прожила в доме, держалась несколько особняком и плохо смешивалась с остальными мальчиками и девочками в своем клетчатом пальто с подложенными плечами и сумочкой на длинном ремешке через плечо, — ее быстро забыли. Я, впрочем, иногда вдруг остро и коротко вспоминал, как вспоминают нечто дорогое, неясное и неслучившееся, эти несколько ночных часов на крыше, над затемненным городом, белое узкое лицо девочки, ее жесткие, как палочки, косы, торчащие из-под берета, теплую тонкую руку.

И лишь сорок пять лет спустя, в канун праздника Пасхи, когда слева за окном тель-авивского автобуса на круглом склоне горы зазолотились освещенные заходящим солнцем дома, я, впервые въезжая в Иерусалим, подумал о зароненной в ту военную ночь в мою душу мечте об этом городе, похожем на солнце и на огромный апельсин, мечте, то надолго засыпавшей во мне, то вдруг начинавшей остро и невнятно меня тревожить, которой одарила меня девочка с именем библейской моавитянки, прабабушки царя Давида, о чем в ту военную теплую ночь 1943-го года я, конечно, не имел ни малейшего понятия.